

Меллер

«Р.Н.Нед»

1893 N 7

«Книжки недели» 1893, июль (кн. 7)

Критическій декадансъ.

I.

Наконецъ-то мы знаемъ, что такое «новая мозговая линия». «Новая мозговая линия» — не мой терминъ: его изобрѣлъ и всѣ права на него сохранилъ г. А. Волинскій, критическій обозрѣватель «Сѣвернаго Вѣстника». Открытіе «новой мозговой линии» произошло, какъ и открытіе «обнаженнаго угла души» и многихъ другихъ хитрыхъ диковинъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ и привело въ недоумѣніе всѣхъ читателей почтеннаго журнала. «Новая мозговая линия» — что это такое? Какъ это понять? Въ журналистикѣ стали шутить надъ г. Волинскимъ, сомнѣваться въ наличности у него нѣкоторыхъ старыхъ мозговыхъ линий, но нашлись и поклонники молодого критика, которые приняли «линію» въ-серьезъ, углублялись и точно въ дремучемъ лѣсу — не находили никакой дороги. Одинъ изъ этихъ поклонниковъ, не только сочувствующій, но даже защищающій г. Волинскаго отъ жестокаго г. Протопопова (коллеги его изъ «Русской Мысли»), пишетъ на дняхъ въ одной саратовской газетѣ, что онъ рѣшительно отказывается понять г. Волинскаго. Сохраняя должное почтеніе къ своему кумиру, саратовскій читатель горько жалуется, что «г. Волинскаго трудно понимать, ибо онъ говоритъ на высоко-отвлеченномъ языкѣ и о такихъ вещахъ, въ которыхъ, очевидно, самъ не разбирался (1). Онъ чего-то хочетъ, да сказать не можетъ. Г.

Е. Б.

Волынский любитъ добро, правду, красоту, гуманность, но въ какомъ видѣ онѣ ему представляются—онѣ сказать не можетъ. Онѣ готовъ, собственно, признать все, что и его противники, но съ особенностями «новой мозговой линіи», а въ чемъ эти особенности—онѣ этого до сихъ поръ не сказалъ. Г. Волынский выражается туманно, — вѣроятно, плохо усвоилъ заим�ваемые имъ принципы изъ Канта и Спинозы, — выражается витѣвато, съ примѣсью пышныхъ эпитетовъ и все больше иностранными словами. Его очень трудно понимать, потому-что онѣ самъ себя мало понимаетъ... Таковъ *блѣдосклонный* отзывъ читателя, сочувствующаго г. Волынскому, особенно одной его чертѣ: храбрости, съ которою молодой, едва оперившійся критикъ набрасывается на старыхъ, давно покойныхъ писателей. Эта храбрость—единственная опредѣленная черта въ нашемъ критикѣ, замѣченная его саратовскимъ поклонникомъ. Непроницаемый *хракъ* мысли г. Волынскаго въ чашѣ фразъ и словъ не давалъ до сихъ поръ никакой надежды для его читателей нащупать, наконецъ, тропинку, «новую мозговую линію», и узнать куда она ведетъ. Повидимому, почтенный критикъ сжалился наконецъ надъ своими читателями и рѣшилъ самъ разыскать эту линію и вообщю показать, что она такое. Въ послѣднихъ книжкахъ «Сѣвернаго Вѣстника» онѣ какъ-бы подводитъ результаты своимъ изысканіямъ—неожиданные, неслыханные результаты! Но такъ-какъ и они закутаны густою порослью разныхъ сорныхъ фразъ и чашею непролзанныхъ выводовъ, то читателю было-бы не легко набрести на знаменитую «линію» даже подѣ-руку съ самимъ г. Волынскимъ. Мы позволимъ себѣ предложить читателю услуги въ этихъ поискахъ, такъ-какъ, если не ошибаемся, «новая мозговая линія» г. Волынскаго нами найдена — именно въ послѣднихъ книжкахъ «Сѣвернаго Вѣстника».

Въ мартовской книжкѣ г. Волынский ополчается на представителей нашей реальной критики и смѣшиваетъ что называется съ грязью Бѣлинскаго, Добролюбова и Пи-

сарева. Въ слѣдующихъ книжкахъ онъ рѣшительно вооружается противъ здраваго смысла вообще (прошу понимать это серьезно, въ буквальномъ значеніи), заявляетъ себя ярымъ символистомъ, мистикомъ, противникомъ общественныхъ вопросовъ, сторонникомъ смерти, какъ «свободы и пробужденія отъ мучительнаго сна жизни», и наконецъ поклонникомъ «безумной критики». Все это я ниже подтвержу подлинными цитатами изъ г. Волынского.

Мнѣ кажется, что на *неопредѣленность* подобныхъ заявленій нельзя пожаловаться; они не только вполне опредѣленны, но и связны, т.-е. представляютъ собою нѣкую систему, и я думаю, что читатель уже начинаетъ догадываться, что это за система. Не напоминаетъ-ли она одну изъ разновидностей той литературной хвори, о которой я говорилъ въ прошлой книжкѣ (іюнь 1893)? Тамъ я привелъ двѣ-три бѣглыхъ иллюстраціи новаго психическаго повѣтрія изъ областей поэзіи, изящной словесности и науки. Теперь г. Волынский даетъ намъ грустное доказательство, что мгла, заволакивающая литературный міръ съ неудержимою силою, коснулась и критики.

Позвольте! воскликнетъ иной читатель: — что такое г. Волынский? Стоитъ-ли останавливаться на немъ, какая-бы хворь его ни захватила? Я думаю, что стоитъ. Въ нашъ «вѣкъ бактериологіи» нельзя пренебрегать гг. Волынскими, какъ-бы незамѣтны они, ни были: обладая поразительною способностью размножаться, гг. Волынскіе могутъ иногда серьезно разстраивать общественное мышленіе. Борьба съ ними ничего пріятнаго не представляетъ, — но она необходима. Поэтому позвольте остановиться на послѣднихъ писаніяхъ г. Волынского, на его декадентскихъ подвигахъ.

Развѣ это не «подвигъ» въ своемъ родѣ — однимъ взмахомъ пера похерить дѣятельность Бѣлинскаго и его преемниковъ? Несомнѣнно, это попытка въ Геростратовомъ вкусѣ. Кстати, какъ-разъ подошло 45-лѣтіе смерти Бѣлинскаго и 30-лѣтіе Добролюбова, годовщины, когда при-

нѣтъ поминать покойниковъ. Все-же, господа, какъ хотите, они заслуживаютъ, чтобъ ихъ помянуть. Это имена не изъ послѣднихъ, имена людей преданныхъ литературѣ и Россіи, пылкихъ, убѣжденныхъ, горячей кровью изощренныхъ въ неблагоустроенномъ и горькомъ трудѣ писательства. Бѣлинскій вѣдь на рукахъ своихъ, у сердца, выносилъ еле народившуюся литературу, провозгласилъ ее, короновалъ вниманіемъ общественнымъ, — вѣдь по-истинѣ онъ горѣлъ и страдалъ любовью къ ней, пока оставалась хоть капля силъ въ изможденномъ тѣлѣ. А въ томъ, что осталось отъ него, развѣ не пылаетъ этотъ благородный пламень добра, истинны, красоты, справедливости жизни? Нѣ знаю, какъ вамъ кажется, читатель, но если вы знакомы съ Бѣлинскимъ (нынче это такая рѣдкость), то я предоставляю вамъ рѣшить, достойное-ли это имя. Тургеневъ, по крайней мѣрѣ, питалъ къ нему истинное благоговѣніе, считалъ учителемъ своимъ и завѣщалъ даже похоронить себя у ногъ его. Но вѣдь то Тургеневъ; а вотъ г. Волынский находитъ, что это вздоръ, что покойный критикъ «не сдѣлалъ всего, что можно было сдѣлать», что ему, видите-ли, «недоставало необходимыхъ философскихъ идей», что «у него отсутствовала всесторонняя (г) теоретическая подготовка» и что вообще подъ конецъ своей дѣятельности Бѣлинскій пошелъ по ложному пути. Все это высказывается категорически, безъ малѣйшихъ признаковъ доказательствъ, въ томъ высокомерномъ тонѣ, который не оставляетъ г. Волынскаго ни на минуту.

Но съ Бѣлинскимъ молодой критикъ обошелся все-же милостиво. Не то съ его знаменитыми преемниками. Съ великолѣпною серьезностью, богатырскимъ взмахомъ своего перышка г. Волынский уничтожаетъ сразу нѣсколько десятилѣтій русской мысли, нѣсколько поколѣній, работавшихъ въ памятную и тревожную «эпоху разсвѣта». Все, по словамъ г. Волынскаго, «что писалось послѣ Бѣлинскаго, за нѣкоторыми самыми ничтожными исключеніями (т.-е. за исключеніемъ писаній самого г. Волынскаго), представляетъ какой-

то странный бредъ публицистическихъ недоразумѣній, какую-то скверную, растлывающую путаницу словъ и понятій безъ отправного эстетическаго начала, безъ теоретическаго центра, безъ руководящаго литературнаго идеала». Далѣе онъ упрекаетъ названныхъ знаменитыхъ критиковъ въ «очень скудную запасъ образованія, крайне-узкомъ, одностороннемъ развитіи, которое не шло никогда дальше ординарныхъ буржуазныхъ взглядовъ и требованій». Отказавъ имъ въ образованіи и развитіи, г. Волынский, наконецъ, отказываетъ имъ и въ самомъ талантѣ: по его мнѣнію, все это были люди «съ ограниченными публицистическими дарованіями», котораго «могло хватить развѣ лишь на историческія и экономическія компіляціи», что они «напрягали свои дѣтскія силенки» и пр. и пр. Вотъ какъ немилостиво и грозно обошелся г. Волынский съ своими знаменитыми предшественниками. Только-что обливъ презрѣніемъ «дѣтскія силенки» всѣхъ этихъ ограниченныхъ писателей, г. Волынский (съ дивною логикою, составляющею его секретъ) приписываетъ имъ великое злое дѣло: въ качествѣ «противонаучной и противохудожественной силы» именно дѣятельность этихъ-то знаменитыхъ критиковъ, по словамъ г. Волынскаго, и «привела литературу къ разложенію и упадку».

II.

Столь безповоротный приговоръ надъ вождями либеральной критики на страницахъ либеральнаго журнала, очень понятно, вызвалъ сенсацию. Либеральную печать онъ повергнулъ въ скорбное недоумѣніе, ретроградную—въ восторгъ и пѣснопѣніе. Особенно встревожился патріархъ либеральной журналистики, почтенный «Вѣстникъ Европы», стоящій бодро на стражѣ литературныхъ приличій и завѣтовъ прошлаго. Многопомнящій, онъ вспомнилъ, что именно въ тонѣ г. Волынскаго травили нѣкогда знаменитыхъ критиковъ, ретроградные журналы Страстного Бульвара. «Только тогда, въ началѣ 60-хъ

годовъ, заявляеть онъ, — говорили такимъ тономъ противъ корифеевъ критики въ консервативныхъ журналахъ. «только тогда озлобленіе къ нимъ доходило до пренебреженія (на словахъ) къ ихъ «дѣтскимъ силенкамъ», до отрицанія даже ихъ публицистическихъ дарованій, до приписыванія имъ скверной путаницы понятій; но даже и тогда оно не доходило до провозглашенія ихъ взглядовъ ординарными и буржуазными. Чернышевскій и Добролюбовъ — буржуазные критики!» Почтенный журналъ не можетъ надивиться этому, дѣйствительно забавному сопоставленію; онъ объясняеть его неумѣстностью г. Волинскаго, непониманіемъ, что значить слово «буржуа». При всей своей респектабельности и джентльменствѣ, «Вѣстникъ Европы» искренно негодуеть на выходку г. Волинскаго, называетъ ее «по-истинѣ изумительной», доходящей «до несправедливости, граничащей съ нечеловѣчностью». Зато съ нескрываемою радостью отмѣчаетъ ту же выходку московское «Русское Обозрѣніе», органъ реакціонный, спѣшащій зачислить г. Волинскаго въ свои союзники. Едва-ли однако стоило почтенному «Вѣстнику Европы» слишкомъ тревожиться и пускаться въ защиту покойныхъ дѣятелей отъ наскока г. Волинскаго. Стоить постичь его «новую мозговую линію», взглянуть на нее какъ на простое, самое обыкновенное декадентство, чтобы всѣ его странные поступки объяснились сами собой. Отрицаніе всеми видимыхъ и бьющихся въ глаза явленій — одна изъ характерныхъ чертъ декаданта. Безконечное самомнѣніе — неизбѣжная его черта. Читая г. Волинскаго, изъ каждой строки его слышишь, что «сегодняшній день есть день величайшаго его торжества — въ Испаніи есть король», — въ Россіи есть великій философъ, и это онъ, г. Волинскій. Въ Парижѣ, какъ извѣстно, одинъ изъ декадентовъ объявилъ себя даже древнимъ царемъ ассирійскимъ (Саръ-Пеладанъ). Самомнѣніе всѣхъ этихъ господъ вполне простибельное, хотя часто и несносное. Что оно у г. Волинскаго — болѣзненное явленіе, продуктъ моднаго пси-

хического повѣтрія, доказывается тѣмъ, что всего два года тому назадъ, когда о декадентствѣ у насъ еще не говорили, г. Волынский держался совершенно противоположныхъ взглядовъ на тѣхъ-же писателей. Это схищенное обстоятельство открыто одною кавказскою газетою, порывшеюся въ старыхъ статьяхъ г. Волынскаго. Два года тому назадъ, въ 1891 году, давая отчетъ о вышедшихъ тогда сочиненіяхъ Шелгунова, г. Волынский вотъ что пишетъ, напримѣръ, о Писаревѣ, человѣкѣ «сравнительно малаго развитія» по теперешней оцѣнкѣ: «Писаревъ былъ послѣднимъ изъ нашихъ выдающихся критиковъ, ибо не подлежитъ сомнѣнію, что Писаревъ обладалъ огромнымъ критическимъ даромъ. Блестящія полемическія импровизаціи, быстрая и живая диалектика, умѣнье докапываться до глубочайшихъ основъ всякаго литературнаго явленія—все это дѣлаетъ произведенія Писарева чрезвычайно интересными и поучительными... Статья Писарева о «Преступленіи и наказаніи» читается съ захватывающимъ интересомъ. Такимъ языкомъ, съ такою силою, съ такими патетическими оборотами мысли пишутъ только люди перваго литературнаго ранга». Правда, г. Волынский почтительно оговаривался, что эстетическія теоріи Писарева, приведшія его къ отрицанію Пушкина, лишены въ настоящее время серьезнаго значенія, но утверждалъ, что «для всякаго должно быть ясно, что Писаревъ обладалъ эстетическимъ вкусомъ, хотя онъ и хранилъ его подалеке отъ свѣта. Можно держаться ложныхъ эстетическихъ теорій и быть при этомъ въ душѣ очень тонкимъ цѣнителемъ искусства». Вообще, «самый талантъ Писарева, его литературное краснорѣчіе, его вдохновенные приемы борьбы, его смертельные, быстрые полемическіе удары и въ настоящее время поражаютъ своєю свѣжестью и правдивостью». Таково было мнѣніе г. Волынскаго о Писаревѣ. Добролюбовъ, повидимому, онъ цѣнилъ еще выше. По его словамъ, нѣкоторыя литературныя характеристики Писарева по силѣ и мѣткости выраженія, по тонкости психологическаго анализа соперничаютъ съ

лучшими статьями Добролюбова». Общий приговоръ г. Волынского нынѣ имѣ принимаемой русской критикѣ былъ слѣдующій: «Бѣлинскій, Добролюбовъ, Писаревъ—такова линія нашей литературной критики—короткая, но яркая и внушительная». И всего нужно было пройти двумъ годамъ, чтобы отъ такихъ дирижировъ перейти къ полному отрицанію—и таланта, и образованія, и развитія, и вкуса, и благородства покойныхъ дѣятелей, къ упрекамъ ихъ въ «скверной, растлѣвающей, ординарной и буржуазной путаницѣ понятій», къ глумленію надъ «дѣтскими сдѣлками» ихъ и т. п. Мнѣ кажется, что въ столь короткий срокъ нормальные люди не мѣняютъ своихъ мнѣній столь круто, особенно относительно вполне законченныхъ дѣлъ. Кавказская газета дѣлаетъ догадку, что прежде г. Волыскій расхваливалъ либеральныхъ критиковъ въ угоду тогдашней редакціи «Сѣвернаго Вѣстника» (прежде въ этомъ журналѣ участвовали гг. Михайловскій, Протопоповъ, Скабичевскій), но это было-бы ужъ очень грустное объясненіе. Это было-бы слишкомъ старою «мозговою линіей». Гораздо благопріятнѣе для г. Волынского наше мнѣніе, что онъ просто впалъ въ декадансъ, въ тотъ сладкій эстетико-мистическій развратъ духа, при которомъ онъ необходимо долженъ теперь говорить всѣ тѣ нелѣпости, которыя онъ говоритъ.

III.

Комическое возстаніе «новой мозговой линіи» противъ крупныхъ дѣятелей нашей критики было только предлюдіемъ къ еще болѣе диковиннымъ ея подвигамъ. Отрицать хотя-бы явныя заслуги, позорить достойныя имена безъ всякаго права и резона—это не красиво, но все же съ чѣмъ-нибудь согласимо; все же это можетъ быть объяснено или тѣми практическими соображеніями, о которыхъ говоритъ кавказская газета, или невѣжествомъ молодого критика, какъ догадывается «Вѣстникъ Европы»,

или завистью, свойственною всякой безталанности, или, наконецъ, комбинаціей всѣхъ названныхъ причинъ. Всѣ эти побужденія, въ сущности, не выходятъ изъ нормы. Но что вы скажете объ отрицаніи самаго разума, объ отрицаніи знанія, здраваго смысла? А вѣдь г. Волинскій и на это рѣшился, и рѣшившись, тотчасъ-же подѣлился новымъ открытіемъ съ своими благосклонными читателями. Раскройте майскую книжку «Сѣвернаго Вѣстника» и прочтите литературныя замѣтки г. Волинскаго. На страницѣ 135 г. Волинскій *en toutes lettres* заявляетъ, что «*некуда двинуться въ литературѣ съ уравновѣшенными чувствами, съ тѣми принципами нормальнаго, здраваго смысла, которые пошлѣ всякой разнузданной безпринципности*». Подумайте, читатель, надъ этой фразой: она краснорѣчива. Какъ ее понимать, если не буквально? Нормальный, здравый смыслъ объявляется пошлостью и ставится ниже всякой разнузданной безпринципности. Но, можетъ быть, это описка, *lapsus linguae*? Но подобныя описки невозможны, и приведенная фраза не описка, а лишь заключительный выводъ изъ нѣсколькихъ десятковъ предыдущихъ страницъ, гдѣ на разборахъ драмы Ибсена «Счастливецъ» и разсказа А. П. Чехова «Палата № 6» г. Волинскій силится доказать, что нормальный, здравый смыслъ — пошлость, мѣшанство, а самое высокое и гениальное будто-бы лежитъ за границами здраваго смысла. Читатели помнятъ, конечно, содержаніе «Палаты № 6». Въ числѣ помѣшанныхъ тамъ описывается бывший студентъ Громовъ, одержимый маніей преслѣдованія, но, какъ и всѣ маньяки, въ свѣтлые промежутки человѣкъ совершенно здравомыслящій. Г. Чеховъ чрезвычайно живо, ярко и реально нарисовалъ этотъ типъ благороднаго мечтателя, возмущеннаго до дна души несправедливостью жизни и въ которомъ созерцаніе вѣчныхъ насилій перешло одною какою-то стороною въ манію преслѣдованія. Г. Чеховъ какъ-бы желалъ показать, что манія не есть нѣчто отдѣльное отъ всей остальной душевной дѣятельности человѣка и вы-

сб
1893
кн. V
с. 134

ростает лишь на однородномъ нормальномъ настроеніи. Негодующій протестъ Громова противъ общественной несправедливости нормаленъ; онъ, можетъ быть, даже наиболѣе яркое выраженіе здраваго смысла, наиболѣе свѣтлое сознаніе его; но при нѣкоторыхъ разстройствахъ это сознаніе переходитъ въ взрывъ инстинктивнаго ужаса, въ панику подсознательной природы человѣка: человѣкъ впадаетъ въ бредъ. Г. Волинскій, какъ-бы не понимая ясной мысли г. Чехова, набрасывается на него за то, что онъ считаетъ Громова мандукой. По мнѣнію г. Волинскаго, Громовъ совершенно здоровъ психически; безумные поступки его можно объяснить какою-нибудь роковою случайностью, затмѣеніемъ сознанія на одну минуту. «Но чѣмъ, спрашиваетъ онъ отъ имени г. Чехова, объяснить безумныя (?) рѣчи о скукѣ жизни, ничтожествѣ окружающихъ, о развратѣ, лицемѣріи? Ихъ объяснить нечѣмъ. Ихъ единственное объясненіе—помѣшательство. Нормальный умъ держится во всемъ середины, играя отъѣсками, не увлекаясь никакими категорическими положеніями, ловко проползая между противоположными крайностями, безъ всякой помѣхи, тихо, смирно, скромно,—разстроенный умъ идетъ во всемъ напроломъ, стремится къ правдѣ безусловной, окончательной, жадно ища именно послѣднихъ, крайнихъ выводовъ (запомните, читатель, это любовное опредѣленіе разстроеннаго ума). Нормальный умъ не станетъ выкидывать ничего рѣзкаго, опаснаго,—умъ, разстроенный помѣшательствомъ, угрожаетъ постоянно всѣмъ и каждому своими рѣзкими сужденіями, своею готовностью не только защищаться съ фанатическимъ пафосомъ, но и нападать съ неукротимой яростью. И Громовъ, конечно, сумасшедшій—не только по увѣренному мнѣнію здравомыслящаго писателя, но и по мнѣнію большинства читателей разсказа. Здѣсь г. Чеховъ имѣетъ за себя все безконечное стало умѣренныхъ русскихъ людей, ведущихъ бессмысленную жизнь, ненавидящихъ со всею искренностью всякія яркія, густыя краски, сенсационныя воз-

Вотъ

ры безумной критики, громкій смѣхъ сатиры надъ пошлостью и низостью. Здѣсь г. Чехову полное раздолье: ему сочувствуютъ повсюду необозримыя толпы спокойныхъ, честныхъ людей, дѣлающихъ свою жизнь по строгимъ предписаніямъ нормальнаго здраваго смысла, по упорядоченнымъ взглядамъ на скромную задачу человѣческой жизни...». Г. Волинскій, выписавъ эту тираду, какъ-бы задыхается отъ сарказма и выпаливаетъ вышеприведенный свой смертный приговоръ надъ «нормальнымъ, здравымъ смысломъ, который пошлѣ всякой разнузданной безпринципности». Далѣе онъ даже просто ругается съ читателями г. Чехова, «спокойными, честными людьми», называя ихъ «разнузданною интеллигентною чернью», воспитанною въ «реалистическомъ направленіи».

Эта ненависть къ нормальному, здравому смыслу, это приписыванье *только разстроенному уму стремленія къ правдѣ*—характерная черта декадентовъ. И въ драмѣ Ибсена—символической и мистической до абсурда—г. Волинскаго восхищаютъ именно противоестественныя стороны пьесы. Такъ-какъ Ибсенъ теперь въ большой модѣ и представляетъ характерную разновидность декаданса (такъ думаетъ, по крайней мѣрѣ, хорошо изучившій его Максъ Нордау), то мы вкратцѣ расскажемъ здѣсь содержаніе этой пьесы въ виду восторженнаго отношенія къ ней г. Волинскаго.

IV.

Вышедшій изъ народа архитекторъ Сольнесъ строитъ церковныя башни и приобретаетъ себѣ извѣстность. Построивъ послѣднюю колокольню въ одномъ городкѣ, при освященіи ея, онъ всходитъ на самую вершину постройки и надѣваетъ вѣнокъ на шпигъ. Это зрѣлище почему-то поразило въ числѣ зрителей 12-лѣтнюю дѣвочку Гильду Вангелъ, а когда Сольнесъ прибылъ къ ея родителямъ на обѣдъ, когда онъ поцѣловалъ дѣвочку, назвалъ ее прин-

цессой и шутя обещала приехать через 10-лѣтъ и похитить ее въ свое королевство, — она влюбилась въ него. Сольнесъ позабылъ объ этомъ случаѣ. Онъ женился на Алинѣ, женщинѣ честной и порядочной, преданной идеѣ долга. За женою Сольнесъ получилъ большой старый домъ съ садомъ, и Алина наслаждалась счастьемъ въ родовомъ гнѣздѣ съ двумя малютками. Повидимому, подъ настроеніемъ этого семейнаго счастья, Сольнесъ рѣшилъ бросить постройку колоколенъ и заняться устройствомъ уютныхъ, свѣтлыхъ домиковъ для людей, гдѣ они наслаждались-бы тихою радостью. Кажется, чего-бы проще; но Ибсенъ придумываетъ самую фантастическую комбинацію. Намѣренію Сольнеса строить уютные домики будто-бы мѣшаетъ его собственный старый домъ, приданое жены, и вотъ онъ начинаетъ желать, чтобы съ этимъ домомъ что-нибудь случилось, напримѣръ, чтобы онъ сгорѣлъ. И онъ дѣйствительно сгорѣлъ, причемъ было разрушено на вѣки счастье Алины, погибли дѣти ея, и она послѣ болѣзни, вызванной пожаромъ, слѣлалась даже бездѣтной навсегда. Все это, видите-ли, нужно было для того, чтобы показать, что только разрушивъ свое личное счастье, свое собственное гнѣздо, Сольнесъ могъ заняться устройствомъ счастливыхъ очаговъ для другихъ. Онъ на мѣстѣ сгорѣвшаго дома и сада построилъ рядъ восхитительныхъ виллъ, доставившихъ ему богатство и знаменитость. Въ этомъ проходятъ 10 лѣтъ. Все, что Сольнесъ ни задумаетъ, — удастся: онъ затмѣваетъ своего бывшаго учителя, архитектора Бровика; тотъ, вмѣстѣ съ сыномъ, талантливымъ Рангаромъ, принужденъ отказаться отъ самостоятельной работы и служить у Сольнеса; чтобы удержать Рангара, Сольнесъ пожелалъ въ душѣ, чтобы невеста его, Кайя Фосли, поступила къ нему въ контору, и она на другой же день пришла, какъ-будто уже была нанята. Сольнесъ пораженъ этой удачей и начинаетъ думать, что онъ сверхъестественный человѣкъ, что въ немъ сидитъ древній скандинавскій тролль, горный духъ; но въ то-же время, на вершинѣ славы, его томить пред-

чувствіе, что рано или поздно счастье отвернется от него; онъ терзается страхомъ предъ всякимъ новымъ талантомъ, предъ молодыми силами, идущими на смѣну старымъ. Онъ умышленно держитъ влюбленную въ него Кайю, чтобы черезъ нее удержать ея жениха на черной работѣ, и доводитъ до смерти стараго Бровика. Но тутъ на сцену является Гильда Вангель, изъ двѣнадцатилѣтней дѣвочки выросшая въ сильную красавицу, попрежнему влюбленную въ Сольнеса. Тутъ, по живописному выраженію г. Волынского, начинаются «бочки тончайшей психологіи при еле мерцающемъ разсудкѣ». И герой, и героиня говорятъ какимъ-то полупомѣшаннымъ языкомъ: она требуетъ, чтобы онъ построилъ ей воздушный замокъ, вмѣсто мѣщански-реальныхъ виллъ, семейныхъ очаговъ, и подъ ея внушеніемъ Сольнесъ убѣждается, что все второе десятилѣтіе своего архитекторства онъ заблуждался, что онъ не былъ истиннымъ художникомъ, строя семейные очаги, что истинное призваніе архитектора—строить башни. «Теперь я прозрѣлъ! восклицаетъ полусумасшедшій Сольнесъ:—Людямъ и не нужны (!) вовсе эти семейные очаги. не нуждаются (!) люди въ семейномъ счастьѣ. И мнѣ тоже не нуженъ семейный очагъ, будь онъ даже у меня». Предъ нимъ, будто-бы, открылась новая перспектива. «Теперь онъ будетъ строить воздушные замки высоко, высоко, на полномъ просторѣ, съ башнями, уходящими подъ облака, на крѣпкомъ каменномъ фундаментѣ, котораго не распатаютъ никакія стихіи (эта галиматья, по толкованію г. Волынского, означаетъ, что Сольнесъ подъ влияніемъ любви Гильды рѣшилъ изъ періода вѣры безъ знанія пройти періодъ знанія безъ вѣры, перейти въ періодъ вѣры, основанной на знаніи: комментарий, достойный текста)». На мѣстѣ стараго дома Алины онъ построилъ новый, съ высокой башней. Гильда, настроенная воспоминаніемъ дѣтства, когда она видѣла Сольнеса на вершинѣ колокольни, настаиваетъ, чтобы онъ взойшовъ на вершину башни своего дома и положить вѣнокъ. Жена Алины и...

докторъ отговариваютъ его, боясь чтобы не случилось у него головокруженія; самъ онъ также боится, но Гильда настаиваетъ, требуетъ. Вся развязка драмы, какъ это ни курьезно, построена на томъ: хватить-ли у архитектора смѣлости взобраться на вершину своего дома; не убоятся-ли онъ въ послѣднюю минуту? Вопреки всякой психологii, Ибсенъ придаетъ этому взлѣзанью на крышу характеръ какого-то героическаго подвига, хотя этотъ подвигъ доступенъ любому трубочисту. Чтобы не скомпрометировать себя въ глазахъ Гильды, Сольнесъ идетъ на башню съ вѣнкомъ въ рукахъ, преодолеваетъ головокруженіе и наконецъ достигаетъ вершины. Гильда приходитъ въ восторгъ и кричитъ въ энтузіазмѣ: «Наконецъ, наконецъ! Я опять вижу его великимъ и свободнымъ! Такихъ я видѣла его всѣ эти десять лѣтъ! Какъ спокойно онъ стоитъ! Посмотрите — онъ укрѣпляетъ вѣнокъ на шпиль! Онъ сдѣлалъ невозможное!.. (1) Видите-ли вы кого-нибудь рядомъ съ нимъ? Есть. Есть нѣкто, съ кѣмъ онъ говоритъ теперь... Развѣ вы не слышите пѣнія въ воздухѣ? Я слышу пѣніе, могучій голосъ! Вотъ, вотъ... Онъ машетъ шляпой, кланяется сюда... Отвѣчайте-же ему! Свершилось... Ура, строитель Сольнесъ!» Но въ эту минуту Сольнесъ упалъ съ вершины крыши и расшибся. Гильда, въ психопатическомъ восторгѣ, точно окаменѣлая, шепчетъ: «Мой строитель... Теперь я не вижу его больше наверху... Онъ достигъ вершины... И я слышала звуки арфы въ воздухѣ... Мой, мой строитель»...

V.

Такова довольно несуразная, какъ видитъ читатель, новая драма Ибсена: въ подробностяхъ она еще неяснѣе, чѣмъ въ общемъ планѣ. Но г. Воллинскій приходитъ отъ нея просто въ судорожный восторгъ. По его мнѣнію, Ибсенъ показалъ себя въ этой драмѣ «настоящимъ орломъ въ поэзіи» и на высотѣ, какой еще не достигалъ ни-

когда. Главное, что прельщает г. Волинскаго въ драмѣ, это то, что въ ней нѣтъ ни одного прямого, не переноснаго выраженія, нѣтъ натуралистическихъ штриховъ, ни одной реалистической тѣни (!): весь рассказъ держится на поэтическихъ аллегоріяхъ, символическихъ намекахъ». Философская тенденція будто-бы выдвинута въ этой драмѣ на первый планъ: это—теоретическое разсужденіе въ художественной формѣ, философскій трактатъ на извѣстную тему, разубранный подкупающими цвѣтами поэзіи. По мнѣнію г. Волинскаго, такіе «теоретическія разсужденія» и «философскіе трактаты на извѣстную тему», пересыпанные «подкупающими» цвѣтами, и есть высшій родъ литературы. Какъ вамъ нравится такой взглядъ на искусство? Очень это глубокій, высокій и широкій взглядъ; онъ охватываетъ ни болѣе, ни менѣе какъ все, безъ остатка. Тутъ и поэзія, и религія, и наука, и философія — все, однимъ словомъ. Правда, есть опасность, что смѣсь изъ всѣхъ высокихъ настроеній въ состояніи, какъ смѣсь звуковъ, дать лишь своего рода кошачій концертъ, въ которомъ не будетъ ничего ни философскаго, ни поэтическаго, ни религіознаго; но г. Волинскій этимъ не смущается. Этотъ-то кошачій концертъ, хаосъ всѣхъ чувствъ, раздраженныхъ до сладострастія, и есть верхъ декаданса. Въ комментаріяхъ къ страннымъ, до-нельзя вычурнымъ положеніямъ драмы г. Волинскій безъ всякаго повода вооружается на защиту религіи, «простодушной вѣры безъ доказательствъ, которую можетъ сразить первый краснорѣчиво выраженный и до-ко построенный софизмъ опытнаго шарлатана науки»; онъ утверждаетъ, что «ничего нѣтъ противнѣе деспотизму таланта, съ претензіями на исключительныя привилегіи въ дѣлѣ служенія обществу»; возстаетъ противъ «узко-буржуазной идеи экономическаго и политическаго благополучія»; наконецъ возстаетъ противъ знанія вообще, которое, внѣ культа, «есть сила жестокая, разрушительная, опасная въ добрѣ не менѣе, чѣмъ въ злѣ».

сила самолюбивая, заносчивая, враждебная морали и справедливости». Гражданскую дѣятельность онъ называетъ соблазнительнымъ путемъ, полнымъ «ужасающихъ слѣдовъ кровавыхъ преступлений рядомъ съ подвигами политическаго мужества»; это путь, «на которомъ правда и ложь уничтожаютъ другъ друга... на которомъ чело-вѣчество никогда не находило и никогда не найдетъ удовлетворенія своимъ высшимъ потребностямъ и желаніямъ». Форма гражданской жизни, проповѣдуетъ г. Волынский, «извѣстенъ наперечетъ, и нѣтъ ни одной, въ которой-бы критика не открыла смертельной, развѣдающей язвы». Не гражданскіе идеалы, а «высшіе духовные законы» ведутъ чело-вѣчество къ счастью. Взаключеніе г. Волынской выпадаетъ превосходный афоризмъ, что «гражданскіе интересы ниже интересовъ чело-вѣческихъ», полагая, вѣроятно, что гражданинъ не чело-вѣкъ, а какой-то совсѣмъ особый звѣрь. Читатель долженъ помнить, что совершенная безпечность къ общественной, гражданской правдѣ—тоже одна изъ характерныхъ чертъ декадентовъ. Сомнѣса въ послѣднемъ періодѣ его жизни, когда въ немъ будто-бы совместились «знаніе и вѣра, наука и религія», г. Волынский считаетъ «героемъ грядущей мысли, грядущей философіи, которая идетъ на смѣну жалкому позитивизму нашихъ дней, ничтожному, безсильному утилитаризму современности». Этотъ герой грядущей мысли убѣждаетъ, что въ немъ сидятъ тролли, какъ и въ Гильдѣ, и что будто-бы эти духи внутри ихъ вызываютъ носиліяся вокругъ силы, что г. Волынский развѣляетъ, повидямому, безусловно. Сомнѣсть говорить: «Сколько несвидимыхъ духовъ! Добрыхъ духовъ и злыхъ, блѣкоурыхъ и черно-волосыхъ. Знать-бы только встаетъ, какой—свѣтлый или чер-ный положить на тебя руку?» Выписавъ эти слова «героя грядущей мысли», г. Волынский за-вѣщаетъ: «Это—экзальтація чувствъ, это—бредъ больного ума и аллѣраженіе. Это истинно бочки тончайшей психологіи при слѣс нерасположен-ности разсудка. Это гений современности. И эта вѣчная при-

поднятость Сольнеса—его нервная чуткость, яростная энергія въ обличеніи собственныхъ пороковъ, его глубокая вѣра въ таинственную силу собственной души—дать ему своеобразную власть надъ окружающими людьми... *Сольнесъ—герой безсилія, побѣждающій не властью твердаго и яснаго убѣжденія, а откровенностью своихъ недуговъ, своей нравственной и физической безпомощности, разбитостію, колебаніями и противорѣчіями. Открытое безсиліе имѣетъ большую власть надъ людьми*. Вотъ онъ—«герой грядущей философіи», идеаль г. Волынского: человекъ, вѣрящій въ черноволосыхъ и бѣлокурныхъ демоновъ, безсильный, противорѣчивый, нравственно и физически безпомощный—словомъ... декадентъ, типическій декадентъ, какой выработался на родинѣ декаданса, во Франціи.

Я чувствую, что утомилъ читателя курьезными цитатами изъ г. Волынского, но ~~позвольте~~ рекомендую вашему вниманію еще слѣдующее разсужденіе нашего философа о смерти: «Развѣ смерть—несчастье? восклицаетъ онъ тономъ глубокаго изумленія.—*Не смерть, а рожденіе есть несчастье*. Смерть—это свобода, пробужденіе отъ мучительнаго сна жизни, побѣда надъ тяжелымъ испытаніемъ низкихъ страстей и чувствъ. *Надо радостно искать смерти, какъ избавительницы отъ тяжелого рабства*» и т. д. Если все это не самая пошлая фраза, то позволительно задать себѣ вопросъ—ужь не отправилъ-ли себя на тотъ свѣтъ г. Волынский въ первую свободную минуту? Не безпокойтесь, читатель: г. Волынский *«ищетъ радостно»* не смерти,—вовсе нѣтъ.

VI.

Какъ видите, всѣ внутренніе признаки декаданса налицо: ненависть къ здоровому смыслу, символизмъ, мистицизмъ, вражда къ гражданской жизни, тяготѣніе къ смерти—конечно, на словахъ. Подстать внутреннимъ при-

знакамъ и виѣшніе: стоить прочесть любую изъ послѣднихъ статей г. Волынского (прежде онъ писалъ гораздо лучше), чтобы согласиться съ его саратовскимъ поклонникомъ. Темно, ужасно темно пишетъ почтенный критикъ. До нельзя растрепанный, кричащій слогъ съ забавными для русскаго уха оборотами, вродѣ «обнаженного угла души», «бочекъ психологіи» (эти «бочки психологіи» онъ повторяетъ въ одной статьѣ нѣсколько разъ, собираясь, кажется, серьезно взять патентъ на эту единицу мѣры, имъ придуманную для психологіи). У г. Волынского безпрестанно встрѣчаются выраженія вродѣ «скреститься острыми шпагами», «позорно-безпорывный», «язвительно-компрометантный», «дѣйствующія лица, очерченные съ шикомъ», «голосъ, летящій съ высоты», «свободная наука, спокойно-развивающаяся, ступая по слѣдамъ постоянно распирающихся идей красоты, истины, Бога» и т. п. Къ сожалѣнію, у меня подъ руками только двѣ статьи г. Волынского. Любитель курьезовъ слога, «ступая по слѣдамъ» хромающаго въ русскомъ языкѣ г. Волынского, могъ-бы набрать изъ «бочекъ» его философіи цѣлое вороха забавныхъ словечекъ, точно взятыхъ изъ какого-то жаргона. Саратовскій поклонникъ г. Волынского утверждаетъ, что этотъ критикъ очень старается о красотѣ слога и объ округленіи фразъ, даже въ ущербъ смыслу, — но очевидно, безъ большого успѣха. Нашъ трезвый, сильный и ясный языкъ даже природно-русскіе декаденты лишь съ трудомъ приспособляютъ для своего туманнаго бреда, — такъ гдѣ ужъ браться за это г. Волынскому!

Теперь, я полагаю, читателю ясно, что такое г. Волынский и съ какими трескомъ возвышавшая имъ «новая мозговая линія». Если нашъ диагнозъ вѣренъ, то все якобы странное введеніе «Сѣвернаго Вѣстника» въ отношеніи нашихъ критиковъ-реалистовъ окажется вполнѣ понятнымъ. Нисколько не странно, но въ высшей степени естественно, что г. Волынский съ своими кулачками набросалъ на критическіе полузабытые имена Калѣ, въ самомъ

дѣлѣ, въ качествѣ декадента, отрицающаго здравый смыслъ, ему не наброситься на писателей, которые именно здравый смыслъ и проповѣдовали, о немъ только и заботились? Припомните, господа, блестящую дѣятельность нашихъ покойныхъ критиковъ. Пусть одного изъ нихъ характеризуетъ горячее сердце, другого — глубокая ученость, третьяго — трезвый умъ, четвертаго — яркий талантъ, или считайте, что всѣ эти черты были общими для нихъ въ разныхъ степеняхъ, — всѣ эти имена соединяетъ одна нерасторжимая связь: поклоненіе разуму человеческому, его ясному сознанію. Идеализмъ Бѣлинскаго, какъ и реализмъ Писарева, какъ и ученія стоявшихъ между ними критиковъ, имѣли одну цѣль: по возможности привести мысль русскаго общества къ нормальному, здоровому состоянію, вывести ее изъ болѣзненнаго недоразвитія и гипноза, навѣяннаго вѣками дикой культуры. Это движеніе русскихъ писателей не было, конечно, новостью: то-же самое стремленіе къ здоровому смыслу характеризуетъ настроеніе всего просвѣщеннаго свѣта вотъ уже четыре или пять вѣковъ. Вся новая исторія въ сущности есть пробужденіе здраваго смысла, который въ средніе вѣка несомнѣнно былъ усыпленъ и разстроенъ: не говоря о суевѣріяхъ и повальномъ невѣжествѣ, стоитъ вспомнить о столь многочисленныхъ въ то время помѣшеческихъ эпидеміяхъ, массовыхъ помѣшательствахъ. Недаромъ гуманизмъ предшествовалъ реформамъ: необходимо было просвѣтленіе сознанія для того, чтобы пробудилась и совѣсть. Чѣмъ-то безконечно затхлымъ и вѣтхимъ вѣетъ отъ усилій декадентовъ потушить разумъ, извлечь какъ-нибудь изъ обращенія здравый смыслъ и взамѣнъ его ввести въ моду смутнымъ, въ сущности чисто физическимъ настроеніемъ переутомленной эстетики, мистики, метафизики. Подъ громкими фразами объ этихъ туманныхъ, яко-бы высокихъ вещахъ скрывается не какая-нибудь особенная премудрость, не «бочки тончайшей психологіи», а ничто, не имѣющее общаго съ мудростью и совѣстью, нервныя раздраженія,

родственным экстазу. Эта нервная музыка, совершаясь сама собою, без всяких возбуждений, не только не споритъ съ здравымъ смысломъ, но даже окрыляетъ его; здравый смыслъ никогда не отрицалъ ни красоты, ни мировой тайны, ни совѣсти. Напротивъ, онъ, и только онъ, по своей свѣтозарной природѣ, освѣщалъ ихъ предъ людьми и давалъ возможность увидѣть ихъ и усвоить. Если при свѣтѣ сознанія очень многое изъ того, что во тьмѣ называло себя добромъ, красотою, тайной оказалось зломъ, безобразіемъ и вѣщью простою, то виновать не здравый смыслъ, а именно лже-добро, лже-красота и лже-тайна, безъ всякаго права вводившія людей въ заблужденіе. При «разстроенномъ умѣ», который, по мнѣнію г. Водинскаго, лишь одинъ стремится къ правдѣ,—какъ при неясномъ свѣтѣ, дѣйствительность принимаетъ иные образы: прекрасное искажается въ уродливое, а уродливое можетъ иногда казаться прекраснымъ; въ этомъ вся и разгадка искренности декадентовъ. Имъ искренно кажется, что назвать свой черепъ могилей, кишащей червями—красиво, что сравнить красавицу съ дохлой жабой—восхитительно, что проскандировать десятокъ словъ на *пи* или *аоп*, безъ всякой связи—музыкально; но большинству человѣческаго рода это покажется и безобразно, и бессмысленно. Большинству! воспоминать декаденты: пошлое большинство! Развѣ большинство — критерій красоты, истины, добра? Толпа—развѣ это не бессмысленное стадо?

VII.

Толпа, конечно, очень часто является бессмысленнымъ стадомъ, но большинство человѣческаго рода не есть толпа. Оно выше толпы, и не только толпы, но даже и отборнаго меньшинства людей, и даже отлѣзныхъ выдающихся гениевъ. Человѣчество не есть только то, что живетъ теперь, но и то, что уже исчезло, оставивъ однако намъ въ наслѣдье свою душу, «убѣжавшую тѣла», въсь

свой опытъ, знанія и откровенія. Только этотъ, такъ сказать, всечеловѣческій соборъ можно признать хотя и не безгрѣшнымъ, но послѣднимъ судьей всѣхъ истинъ, и только его судъ будетъ праведнымъ. Для каждаго отдѣльнаго человѣка при краткихъ мгновеніяхъ жизни «свободный умъ» есть, конечно, «высшій судъ» (вспомните Пушкина), но гг. декаденты умъ-то и отрицаютъ, разрѣшая себѣ одну лишь свободу. А свободный, истинно свободный умъ въ каждомъ человѣкѣ есть голосъ человечества, настѣдье всѣхъ жизненныхъ, безсмертныхъ частей его духа. Отрицать человечество значитъ отрицать и отдѣльный умъ, и наоборотъ. Въ доказательство «заблуждений большинства» приводятъ массовыя суевѣрія, дикія тысячелѣтіями державшіяся религіи, предрасудки и т. п. Но во-первыхъ, въ послѣднемъ своемъ словѣ, въ сознаніи просвѣщеннѣйшихъ людей, человечество отказалось отъ этихъ суевѣрій; во-вторыхъ, необходимо помнить, что всѣ эти суевѣрія и жестокіе обычаи держатся не массою человечества, а отдѣльными, своекорыстными группами людей, какъ напримѣръ кастами жрецовъ и воиновъ въ древнемъ Египтѣ и Индіи, кастою фарисеевъ и левитовъ въ древнемъ Иерусалимѣ, кастою монаховъ и феодаловъ въ средне-вѣковой Европѣ. Глубоко-народныя массы лишь пассивно подчиняются неестественному укладу какъ вѣрованій, такъ и самой жизни; покоряясь овладѣвшей ими силѣ, какъ теперь гдѣ-нибудь въ Афганистанѣ или Дагомѣ, народъ отстаиваетъ самое драгоценное изъ правъ — право жизни, хотя-бы и испорченной. Въ сущности, народъ никогда не бывалъ еще призванъ въ судьи великихъ истинъ добра и красоты, а когда онъ самъ подавалъ свой голосъ, то голосъ народа по-истинѣ былъ «гласомъ Божиимъ». Помните, что всѣ великія религіи вышли изъ глубокихъ народныхъ нѣдръ, что онѣ складывались не въ смиранныхъ и шумныхъ стѣнахъ городовъ, а подъ шатрами пустынь, въ хижинахъ галилейскихъ рыбаковъ, подъ яснымъ и мирнымъ небомъ деревни, на лонѣ незагрязненной при-

роды. Великіе пророки шли изъ народа-же, великіе люди даже послѣднихъ вѣковъ питались изъ тѣхъ-же свѣжихъ, неострашенныхъ источниковъ, и даже условіемъ всякаго величія сдѣлалось противоположеніе престолярнымъ духомъ, его вѣчно-юной, бодрѣющей стихіей. Великіе, истинные поэты были глубоко-народны, какъ нашъ Пушкинъ или Лермонтовъ: а народны-ли хоть сколько-нибудь почтенные декаденты? Призвалъ-ли-бы ихъ хоть одинъ народъ на свѣтъ за своихъ, понялъ-ли-бы хоть что-нибудь изъ горячскаго бреда, выдаваемого декадентами за какую-то новую религію, новую философію, новую эстетику, новую мораль? Народъ счелъ-бы ихъ за порченныхъ и, по добротѣ своей, протянуть-бы имъ конфетку даже безъ всякихъ ихъ кривляній. Немножко раньше декадентовъ народъ, въ тишинѣ природы, создалъ и истинную религію, и истинную поэзію; онъ далъ добру и красотѣ такія ясныя, неизбѣжныя выраженія, которыя дѣлаютъ ихъ частью сознанія, почти органически вводятъ въ разумъ. Все, что могутъ сдѣлать гг. декаденты и что они усердно дѣлаютъ, это — напустить конопли въ тѣ сферы, гдѣ было, по ихъ мнѣнію, слишкомъ ясно: болѣе глаза не выносятъ свѣта. Пороженія городовъ, этихъ могилъ народной свѣжести и здоровья, убійки разнообразныхъ, развращенныхъ цивилизацій, насильственное смрадоу исчезній изъ вещей омутовъ утомленнаго грѣха — что могутъ дать народу гг. декаденты, и какъ у нихъ хватаетъ дерзости противопоставлять себя свѣжему, еще не отравленному человѣчеству?

Нало сдѣлать существенную оговорку. Въ презрѣніи къ человѣчеству, свѣтлѣющему съ толпой, декаденты могутъ быть оправданы только тѣмъ, что они введены въ заблужденіе послѣдними высоками науки. Слѣдуетъ замѣтить, что хотя гг. Вольскіе и отрицаютъ «нормальный, здравый смыслъ, который полагаетъ разнужданной безпринципности», отрицаютъ «деспотизмъ таланта» и пр., однако не перестаютъ питаться крохами,

падающими съ богатаго стола именно здраваго смысла, знанія, таланта; они прислушиваются и мотають себѣ на усь, что говорятъ столь скверные здравый смыслъ и знаніе. Въ послѣдніе годы много говорили о психологіи толпы, о низшемъ духовномъ типѣ кучи людей, охваченныхъ какою-либо общей страстью. Хотя вопросъ этотъ еще далеко не разработанъ, хотя толпа можетъ быть и ниже, и выше отдѣльнаго человѣка, взятаго изъ нея, но декаденты ухватились за новое ученіе какъ за предлогъ къ самовозвеличенію насчетъ бѣдной «толпы», въ которую они зачисляютъ всѣхъ, кто имъ не нравится. Такъ, г. Волынский смѣшалъ съ толпою даже столь рѣдкія и поразительныя дарованія, какъ Добролюбова и Писарева, да заодно прихватилъ и всѣхъ своихъ журнальныхъ недруговъ, начиная съ гг. Буренина, Михайловскаго, Протопопова и Скабичевскаго. Чуть не въ каждой статьѣ бѣе подаетъ, такъ сказать, «за упокой» всѣхъ своихъ враговъ, не забывая помянуть «Михайловскаго и цѣлую тучу умственно-бездарныхъ Протопоповыхъ, подвизавшихся на страницахъ либеральныхъ журналовъ». Все это, видите-ли, толпа, тогда какъ гений—это онъ, г. Волынский, онъ—герой, имѣющій право, разославъ къ чорту Михайловскихъ и Скабичевскихъ, одинъ властвовать надъ толпой и писать для нея законы въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ». Пользовались гг. декаденты и другой доктриной—моднымъ ученіемъ Ломброзо, и даже неумѣренно попользовались. Это ученіе между прочимъ проповѣдуетъ крайне-сомнительную мысль, будто гениальность близка къ сумасшествію, стоитъ даже на границѣ его. Большинство гениальныхъ людей отличается странностями и причудами, крайней нервно-стью, неустойчивостью, —множествомъ признаковъ, которые встрѣчаются и у помѣшанныхъ. Теорія эта, оставивъ слабое впечатлѣніе въ наукѣ, произвела большой переполохъ въ той читающей массѣ, которая гениальнаго человѣка ни разу въ жизни не видала и по самой себѣ никакого представленія о гениѣ составить не можетъ. Гений близокъ къ

сумасшествию? Каково! Значить, всё эти странности, причуды, половой развратъ, нервное разстройство, — все это черты гениальности? Разсуждая такъ, понемногу иной психопатъ начиналъ вдругъ открывать въ себѣ признаки несомнѣннаго величія. Байронъ былъ пьяница; но позвольте, и я вѣдь пьяница! Руссо былъ развратникъ, а я — развѣ нѣтъ? Шопенгауэръ прибилъ однажды шпсю — а я переколотилъ даже дюжину дѣвчонокъ въ такомъ-то заведеніи и т. д. и т. д. У маленькаго чловѣка оказывались несомнѣнно общіе коэффициенты съ гениальнымъ, и онъ торжественно вносилъ себя въ одну списку съ Байрономъ, Руссо, Шекспиремъ и т. п. Натуры съ «нормальнымъ, здравымъ смысломъ», конечно, не долго держатся прекрасной иллюзіи; онѣ понимаютъ, что, по выраженію Гейне, хотя Алкивиадъ и отрубилъ у собаки хвостъ, но еще недостаточно изувѣчить собаку, чтобы сдѣлаться Алкивиадомъ. Нормальные люди отлично видятъ, что грѣхи великихъ людей — особъ статья, а достоинства — особъ статья. Но иное дѣло — «ненормальные люди», столь возвеличиваемые г. Волынскимъ, люди «съ разстроенымъ смысломъ»: тѣ и вѣзправду начинаютъ считать себя гениями, и это составляетъ по-истинѣ ихъ трагическую черту. Разстройство ихъ ума кажется имъ чудеснымъ, они становятся въ величественныя позы, нахмуриваютъ брови и начинаютъ имитировать гениальныхъ личностей. Будучи по природѣ дюжинными, холодными, гг. Волынскіе стараются казаться энальтированными, воспламененными; припоминая, что гений близокъ къ сумасшествію, они начинаютъ съ сумасшествия, чтобы подойти къ гению. Въмѣсто языка яснаго, красиваго здоровьей мысли они сочиняютъ себѣ трескучій, выкрученный жаргонъ и истерическую интонацію, начинаютъ бредить о какихъ-то супранатуральныхъ, трансцендентальныхъ, сверхъ-человѣческихъ свойствахъ, о какихъ-то непостижимостяхъ, будто-бы имъ открытыхъ, кипятъ, хлопочутъ, пытаются извергнуть изъ себя къ небу всё земныя ифдра, хотя извергаютъ, какъ

маленькіе волканчики Курильскихъ острововъ, всего только жидкое и довольно грязное содержимое. Со стороны глядѣтъ на такой задоръ маленькаго человѣчка бываетъ очень грустно. Невольно припоминаешь Донъ-Кихота въ горахъ Сьерра-Невады, хотя благородный гидальго неистовствовалъ и бился о камни безъ всякихъ дурныхъ замысловъ, безъ «презрѣнія къ толпѣ», безъ желанія осѣдлать ее. Имитируя внѣшніе признаки фантастическихъ рыцарей, ламанчскій герой внутренно, духовно, былъ на самомъ дѣлѣ великій рыцарь, и можетъ быть, благороднѣйшій изъ всѣхъ, какіе только существовали: нельзя сказать того-же про декадентовъ, притворяющихся гениями. Внѣшнимъ образомъ они еще въ состояніи загрохотаться великими людьми, но ихъ внутренняя пустота тотчасъ-же выдаетъ ихъ головою. Донъ-Кихоту во внутреннихъ его качествахъ, въ благородствѣ и безстрашии, по-истинѣ могли-бы подражать всѣ живые рыцари; единственно, чего не хватало ему — это здраваго смысла, чтобы дѣйствительно стать героемъ. Декадентамъ также не достаетъ здраваго смысла, да сверхъ того и настоящаго благородства, покоя и равновѣсія великихъ душъ.

VIII.

Равновѣсіе души декадентамъ кажется страшною ересью. По мнѣнію г. Волыпскаго, чѣмъ выше, чѣмъ совершеннѣе душа, тѣмъ она болѣе должна быть раздражена и всклокочена. «Нормальный здравый смыслъ» спокоенъ, — декаденты презираютъ его какъ пошлость, отгораживая себя въ особую аристократію — хотя-бы и порченныхъ, но все-же не «такихъ, какъ всѣ». Демонское тщеславіе, заѣдающее эту школу, заставляетъ ее проповѣдовать, что кромѣ «нормальнаго здраваго смысла» есть какой-то иной, бесконечно-высшаго сорта, и что этотъ иной смыслъ долженъ быть, подобно лимбургскому сыру, тронуть гнилью и плѣсенью. Отсюда восхваленіе «разстроенаго» разума, апологія безсилія, неустойчивости, безумія. Отсюда-же

вѣчная натуга г. Волынского, напряженное выкручиванье имъ изъ себя какихъ-то вѣщихъ словъ, приводящихъ въ глубокое неудовольствіе престоудушныхъ саратовцевъ. Г. Волынский думаетъ, что любому маленькому человѣку для созданія чего-нибудь великаго стоитъ только напрячь себя до кроваваго пота, хотя грустный примѣръ лягушки, подражавшей волу, долженъ быть-бы его предостеречь отъ опаснаго опыта. Г. Волынскому полезно было-бы изучить природу генія и уразумѣть, что геній спокоенъ; что онъ не пружится, что онъ осиливается непосильныя для смертныхъ задачи легко и свободно, какъ-бы «играючи», что геній престоудушенъ и здравомыслящъ. Ни бѣшеныхъ прыжковъ, ни свирѣпаго вращенія глазами, ни раздирающихъ воплей не встрѣчается у настоящаго генія: даже на вершинахъ страсти онъ благороденъ и умѣренъ. Въ то время, какъ безталанный писатель въ пять минутъ выкричить и вывернуть себя передъ читателемъ и впасть въ протрацію, гениальный авторъ все время остается воздержнымъ и передаетъ читателю не истраченную имъ на пустые эффекты силу замысла. Геній спокоенъ и угрюмъ, потому что здравомыслящъ; временами «тихий и суровый, и зыбко», и смятенъ полнѣе, онъ свое смятеніе оставляетъ при себѣ, а публикѣ выноситъ уже спокойные, облагоуханные звуки; декаденты-же думаютъ, что въ смятеніи-то и вся суть. Погляньте гдѣ-нибудь на большомъ заводѣ центральную машину, движущую посредствомъ привода сотни и тысячи колесъ. Путунный исполнитъ распростеръ широко свои многосложныя плечи, они поднимаютъ и склоняютъ гигантскіе стальные шатуны и поршны, грузно и мѣрно бѣжитъ маховое огромное колесо; но что поражаетъ васъ, — это глубокая тишина въ этомъ центральномъ святилищѣ завода. Побывавъ въ самыхъ изстѣрженныхъ, въ литейныхъ, кузнечныхъ, прокатныхъ, строгальныхъ и пр. съ ихъ оглушительнымъ лязгомъ, стукомъ и грохотомъ и очутившись передъ главной машиной, матерью всѣхъ этихъ шумныхъ, неистовыхъ станковъ и механизмовъ, — вы изумлены

ея глубокимъ спокойствіемъ при величайшемъ напряженіи творчества силы. Полъ и стѣны дрожатъ мелкою дрожью, вы понимаете, что идетъ могучій, таинственный процессъ, въ которомъ кипитъ страшная энергія, но чувствуете также, что исполинъ-машина владѣетъ ею и обуздываетъ, направляя къ опредѣленной заранѣ цѣли. Но въ сущности весь секретъ этой власти — уравниженіе силъ, — противопоставленіе безумному напору пара — рассчитанной твердости стали и чугуна. Таковъ, мнѣ кажется, и гений: работа его огромна, но безшумна; читатель ее не видитъ и не долженъ видѣть. «Здравый смыслъ» (если онъ дѣйствительно *здравый*) не есть нѣчто чуждое гению, это и есть самъ гений. Геніальныя мысли — суть простыя вѣрныя мысли, открытыя раньше, чѣмъ кто-либо ихъ уловилъ. Только тѣ мысли геніальны, которыя входятъ затѣмъ въ обиходъ (отсюда судьба великихъ изреченій дѣлаются пословицами); разъ же какая-либо мысль, пройдя дѣйка, не застряла во вниманіи народномъ, ее слѣдуетъ считать не геніальною, невѣрною — кромѣ тѣхъ случаевъ, когда мысль не была пущена въ достаточный оборотъ. Какъ-бы ни было ярко вдохновеніе и возвышенна страсть, какъ-бы ни былъ прекрасенъ образъ, они не суть что-то особое отъ здраваго смысла, а именно самый этотъ смыслъ. Все, что отвергается спокойнымъ сознаніемъ, все ложно: надутый пафосъ, изощренная страсть, позирующая мудрость — все это не геніально, потому что невѣрно, и наоборотъ, все, что вѣрно — геніально, будь то деревенская поговорка, написанная народной пѣснью, безискусственное признаніе въ дружбѣ и т. д. Все нормальное въ области дѣла — геніально, и наоборотъ. Здравый смыслъ, если онъ не имитация, есть гений народа и онъ доступенъ всякому; отожраживаться здравомыслиемъ людямъ отъ толпы не приходится. Толпа вообще рѣдко обладаетъ здравымъ смысломъ, но въ тѣ моменты, когда она имъ обладаетъ — она геніальна. Единственное преимущество великаго чловѣка въ томъ, что онъ чаще другихъ и прежде другихъ соз-

даетъ вѣрныхъ мыслей, но и самъ не застрахованъ отъ ошибокъ, и вся разница въ томъ, что ошибокъ у него меньше. Какъ замечательная швейца поспѣемъ съ мякиной, трудъ гениа заключается въ томъ, чтобы потомство отвѣяло соръ и воспользовалось зерномъ. Напрасно почтенные декаденты стараются доказать, что имъ въ качествѣ гениевъ откупилъ извѣстныя смертеско-жизненные идеи добра, истины и красоты. Если бы, по счастливости, иному декаденту въ припадкѣ въ голову свалилась мысль, то напрасно самъ декадентъ увидѣлъ бы разстрѣпанную и растлѣнную: она явится простою и живымъ, здоровою дочерью «нормальнаго, здраваго смысла». Правда, мало надежды, чтобы такая мысль забрѣла въ черепъ декадента — эту «могилу съ кишачными червями», какъ рекомендуетъ свой мозгъ отецъ декадентовъ Боденаръ.

Декаденты изъ всѣхъ силъ бьются разстроить свою мозговую дѣятельность, съ хитрымъ умысломъ, какъ я сказалъ, — черезъ сумасшествіе перебраться въ гениальность. Величіе человѣческое есть, по ихъ мнѣнію, продуктъ большого мозга. Но я думаю, только дѣйствительно въ больномъ мозгу могла явиться такая мысль. Какимъ образомъ правильная функція можетъ быть у разстроеннаго органа? Попробуйте на разстроенномъ роялѣ сыграть симфонію. — Однако, несомнѣнно, скажутъ мнѣ, психика великихъ людей, какъ было извѣстно еще ранѣе Ломброзо, не во всѣхъ своихъ частяхъ здорова. Но что-же изъ этого? Отдѣльныя великія мысли или даже отдѣльныя великія способности суть отправления не всего мозга, а лишь опредѣленныхъ его участковъ, и эти участки должны быть здоровы, и даже здоровѣе, чѣмъ у обыкновенныхъ людей. Эти мозговые участки обильнѣе орошаются кровью и обильнѣе питаются; они процвѣтаютъ, такъ-сказать, въ ущербъ инымъ, сосѣднимъ мозговымъ центрамъ, которые въ силу этого и разстраиваются. Переразвитіе, разрастаніе специальныхъ клѣтокъ, какъ размноженіе аристократіи въ народѣ, даетъ блескъ духовной

жизни, но сопровождается обездоленіемъ «низшихъ слоевъ» мозга—регулятивныхъ, двигательныхъ и иныхъ центровъ. Такъ надо понимать «разстройство» великихъ умовъ: это не разстройство, а наоборотъ—наиболѣе цвѣтущее состояніе извѣстныхъ сторонъ души. При общей мозговой смяткѣ (*pium desiderium* декадентовъ) не можетъ явиться ни единой сколько-нибудь ясной мысли; начинается сплошной бредъ, кажушійся инымъ критикамъ глаголами неба.

IX.

И такъ, вотъ чѣмъ разрѣшилась знаменитая «мозговая линія» г. Волынского: типическимъ декадансомъ. Странное и печальное явленіе представляетъ эта школа, возстающая противъ здраваго смысла. Великій XIX вѣкъ, вѣкъ торжества человѣческаго сознанія, кончается бредомъ, самоотрицаніемъ, старческимъ маразмомъ. Яркій свѣтъ свѣжей, бодрящей мысли, возженный строгою и точною наукой, гаснетъ, распространяются сумерки, таинственный, желанный мракъ для совѣ и летучихъ мышей. Бродятъ какія-то тѣни, дѣйствительность кажется призракомъ, галлюцинація—дѣйствительностью. Что это такое? Что такое декадансъ съ его проповѣдью безумія? Что это за школа, возводящая въ идеалъ болѣзнь, безсиліе, смерть? Неужели это идеализмъ? Гг. Волынскіе больше всѣхъ кричатъ объ идеалахъ, о религіи, о Богѣ, о таинствахъ философіи и науки, они увѣнчиваютъ себя всѣми древними гербами, развиваютъ всѣ знамена, выкрикиваютъ всѣ девизы—не замѣчая, что это знамена враждебныхъ лагерей, что собранные безъ разбору девизы отрицаютъ одинъ другой, а всѣ они вмѣстѣ отрицаются безуміемъ, которое ихъ сблизило. Декадентство имѣетъ не мало общихъ чертъ съ средневѣковой схоластикой, которой суть состояла въ отрицаніи яснаго смысла вещей и въ разыскиваніи иносказаній, символовъ, таинствъ въ самомъ

простомъ текстѣ. Какъ и схоластики, декаденты отвергаютъ здравую реальность вещей, все время оставаясь въ нарковѣ громкихъ и вычурныхъ словъ; какъ и схоластики, декаденты насквозь пропитаны мистицизмомъ и демономаніей; подобно схоластикамъ, они вѣрятъ, что только разстроенному разуму доступны высшія откровенія; какъ и схоластики, они отворачиваются отъ гражданскихъ, общественныхъ идеаловъ. Параллелизмъ можно вести до мелочей, и даже самое содержаніе свое декаденты черпаютъ часто изъ источниковъ, общихъ съ схоластикой. Читатели, интересующіеся этимъ совпадениемъ, могутъ прочесть обстоятельныя статьи: о декадентахъ—Н. К. Михайловскаго въ весеннихъ книжкахъ «Русской Мысли», и о схоластикахъ—проф. Любимова въ послѣднихъ №№ «Русскаго Вѣстника». Я не думаю, чтобы новой схоластикѣ удалось возобладать въ обществѣ: достаточно могучіе корни пустить въ жизни здравый смыслъ, достаточно возмужалъ тонкая наука, да и культурныя и социальныя условія далеки отъ средневѣковья. Декадентство—хворь, которая должна встрѣтить и встрѣтитъ должный отпоръ; однако нельзя считать эту хворь пустою, неопасною. Она крайне заразительна и распространяется очень быстро, а психическое состояніе общества (въ особенности нашего) даетъ для нея хорошо подготовленную почву. Уже давно, еще въ разгаръ позитивизма, ученые наблюдатели предсказывали поворотъ общества къ старымъ, мистическимъ учениямъ (см. у Ланге, въ «Истории материализма»); и действительно, какъ на Западѣ, такъ и у насъ въ послѣднее десятилѣтіе очень усилилась наклонность ко всему волшебному. Пресыщеніе материализмомъ съ одной стороны; приближеніе науки къ основнымъ началамъ—съ другой; гаданья, телепатія, спиритизмъ и пр. и пр.—съ третьей; возрожденіе морали—съ четвертой—все это, хорошее и дурное, влечетъ общество къ мистикѣ, излишество которой предрасполагаетъ ко всякимъ мѣловымъ экзекусамъ. Декадентство идетъ, такъ

сказать, вмѣстѣ съ вѣтромъ; оно вліяетъ даже на сильныя натуры, не подозрѣвающія объ этомъ, а слабыя—вродъ г. Волинскаго—валить съ ногъ. Эпидемія, если ей не противиться, можетъ захватить большое пространство и весьма существенно приостановить и безъ того еле движущуюся у насъ общественную мысль. Слѣдуетъ вооружиться на защиту здраваго смысла. Этотъ «смыслъ», конечно, далеко не совершененъ; даже въ гениальномъ проявленіи онъ далеко не удовлетворяетъ человѣка; какъ маленькій фонарь въ рукахъ путника ночью, въ глухомъ лѣсу, онъ освѣщаетъ лишь на два шага кругомъ и далѣе не видать ни зги; но все-же нельзя гасить этотъ огонекъ, хотя-бы и мерещились кругомъ болотные огни, хотя-бы гдѣ-то въ безконечности и были скрыты цѣлые океаны свѣта. Пока солнце, великое солнце міра, котораго ждешь человечество, не взошло (а это не въ нашей волѣ), нужно тщательно беречь уже имѣющуюся искру огня, того-же святого огня, который горитъ и на алтаряхъ небесныхъ,—искру здраваго смысла. Небольшой это, неясный фонарь, но съ нимъ можно находить тропинки, можно разглядѣть дорогія лина друзей и хищную пасть звѣря. Въ сущности, тотъ-же слабый огонь, огонь сознанія не только свѣтитъ, но и согреваетъ насъ; во что обратятся любовь и умиленье, если сознаніе будетъ «разстроено», какъ желали-бы декаденты? Нѣтъ, мнѣ о Прометѣѣ не ложь: огонь разума воистину похищенъ съ неба, воистину онъ священный, и блюсти его долженъ каждый, не давая погаснуть ни на минуту. Въ мірѣ нѣтъ иного, по-крайней-мѣрѣ доступнаго человѣку свѣта, и онъ нуждается въ благоговѣйномъ, цѣломудренномъ береженіи его. Вѣдь это такая тонкая, нѣжная стихія, столь легко разрушимая!

Особенно у насъ въ Россіи декадентство явилось крайне не кстати. Наша общественная и личная жизнь такъ застоялась и замутилась, столько бѣдствій обрушивается на народъ нашъ, такимъ непрогляднымъ невѣжествомъ онъ окутанъ, что требуется энергическое и быстрое вмѣша-

тельство здравого смысла, чтобы исправить все это. Нужно много, бесконечно много трезвого сознанія во всѣхъ углахъ русской жизни, нужны обильные притоки яснаго и точнаго знанія, нужно побольше здоровья, желанія жить во что-бы ни стало теперь, на этой-же самой землѣ, необходима сила и воля: «властью безсилія», рекомендуемаго г. Волинскимъ, немного сдѣлаешь, — немного сдѣлаешь «разстроеннымъ разумомъ» и «радостнымъ стремленіемъ къ смерти». Стремиться къ смерти! Въ это только-что пережитые, чудовищные годы, когда смерть сама посмотрѣла въ лицо русскому народу, насъ ободряютъ такимъ совѣтомъ! Нѣтъ, что-бы ни бредили гг. Волинские, а стремиться нужно къ жизни, къ устроенной, освѣщенной здравымъ смысломъ, нормальной. Въ нашей теперешней, разстроенной жизни, съ иссохшими источниками, съ омраченнымъ духомъ есть, все что нужно для самаго широкаго, привольнаго счастья, но мы этого не видимъ, а увидѣть это можно лишь при свѣтѣ здравого смысла — именно того самаго, который «попалъ» самой разнузданной безпринципности; по прелестному выраженію г. Волинскаго.

Еще два слова: благородныя нападки г. Волинскаго на знаменитыхъ критиковъ-реалистовъ объясняются тѣмъ, что они и изъ-за гроба страшны для него своею проповѣдью здравого смысла. Нѣтъ сомнѣнія, что эти нападки г. Волинскаго будутъ продолжаться и solo, и общимъ хоромъ русскихъ декадентовъ. Читателямъ, слушающимъ этотъ хоръ, можно посоветовать одно: освѣжите себѣ въ памяти труды опорочиваемыхъ писателей. Какъ и всѣ классики, они мало читаются; многими они почти забыты, а между тѣмъ громадныя ихъ таланты сохранились нетлѣнными до сихъ поръ. Какое обиліе мысли, что за чудесный, могучій языкъ!... Почитайте ихъ, а затѣмъ возвратитесь къ «новой мозговой линіи» — и сравните.

М. Меньшиковъ.

ЛИТЕРАТУРА

Какъ понимаютъ.

Въ Парижѣ недавно двѣ книги о Толстомъ и Жоржа Дюма — «...» книги чрезвычайно и сколько французскіе Николаевича. Передаю

Книга Шредера состоитъ изъ главъ, введенія, тое и ясное изложене, главная мысль всей книги — лекциями, читаніями, чуждыми во всѣхъ его писаніяхъ, сначала полонимъ художественныя и полнѣе сознаніе «Исповѣди» есть не чужды и развитіе ранней воды не есть мистическаго великаго художника, не, какъ нельзя болѣе ственные запросы евро

Въ предисловіи своемъ являюсь написать триціологию, политической, хотя предметъ моей стодой изъ этихъ наукъ